

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	67

Все переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.
Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.
Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.
Настанет новый, лучший век,
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

Борис Пастернак

Для каждого из нас, хотим мы того или нет, обильным потаенным источником всех помыслов служат воспоминания детства, первые прочитанные книги, а может быть, даже чувства, унаследованные от предков. Все это образует глубинную основу, щедро питающую нас, подающую о себе весть в наших сновидениях.

Андре Моруа

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Всю сознательную жизнь тянет меня в эти места. Давно уже снесли одноэтажный дом, где до войны жили три семьи офицеров высокого ранга, и семья моей тети в том числе. Давно уже на этом месте выстроили новый корпус Художественного института, глядя на который я упрямо вижу тот, старый, дореволюционной постройки особняк, где прошла часть моего доверенного и военного детства и о котором сохранилось столько воспоминаний!

...В выходные и праздничные дни в этом доме не смолкал патефон, собиралась веселая компания, несколько молодых пар с детьми. Старшие танцевали, пели, устраивали маскарады, а нас, детей, укладывали в отдельной комнате, через коридор, в надежде, что мы будем спать. Но нам не спалось, мы тихонечко приоткрывали обе двери и с восторгом наблюдали за веселыми проделками взрослых. Когда нас замечали, мы убегали, за нами гнались, с шутками да прибаутками, снова укладывали, и все начиналось сначала, пока беспробудный сон не смыкал наши веки. Мы спали, а над нами тихо кружился сладкий голос Вадима Козина:

Был день весенний, все расцветало, ликовало,
Сирень синела, будя уснувшие листы.
Грусти тогда со мною ты не знала —
Ведь мы любили и для нас цвели сады.
Ах, эти черные глаза...

До сих времен, слушая эту довоенную музыку, я вижу молодые лица моих родителей, их друзей и приятелей, наших родственников. Эти танго, фокстроты, вальсы моего раннего детства стали частью меня навсегда, живут трогательным напоминанием о детстве, о том, что оно, пусть даже очень короткое, но было.

И вдруг музыка исчезла, ей на смену пришел ночной гул бомбардировщиков, вой сирен воздушной тревоги, свист фугасных и зажигательных авиабомб. Частью жизни сделались противогазы, вспыхивающие там и здесь пожары, мчащиеся машины «скорой помощи». Люди с чемоданами, тюками и перинами метались по улицам, что-то разыскивая, от кого-то убегая. Окна наспех заклеивались бумажными лентами, чтобы стекла не вылетали от взрывной волны. Но в нашем районе взрывов пока не было, гремело где-то далеко, у вокзала да в районе заводов. Очереди в магазины росли, словно грибы после обильного дождя. Раскупили всё мгновенно, а нового подвоза не было. Пошумел народ, пошумел, посоветался и нашел новый способ кормиться да на зиму запастись. А зима, предрекали, будет лютая да голодная. И пошли люди громить базы, сначала на продуктовые накинудись, а чуть позже разобрались — в хозяйстве все пригодится — и принялись громить и растаскивать все подряд. За день разграбили кондитерскую фабрику, при этом, рассказывали, четверо утонули в огромной бадье с патокой. Даже не голод, а только предчувствие голода может очень быстро превратить слабого духом человека в зверя. В этом я убеждался неоднократно.

В первый же день войны мужчины из нашего дома ушли воевать, потом вскоре две семьи уехали в эвакуацию, остались только моя тетьа на сносях и ее дочь, моя двоюродная сестра. В сентябре пришло время тете рожать, и к ней в дом перебрались с Ивановки дедушка и бабушка. А в первый день оккупации города немцами, 24 октября 41-го года, и мы с мамой покинули свою новую трехкомнатную квартиру на улице Крымской, где и прожили-то чуть больше года, и перебрались туда же, на Каплуновскую, прихватив кое-что из одежды и постельное белье. Шел мелкий осенний дождик, немецкие солдаты убирали с дорог противотанковые ежи и колючую проволоку, смеялись и громко разговаривали на незнакомом языке, а мы молча тащили свои пожитки, мечтая поскорее добраться до места. Мою маленькую голову сверлила одна-единственная мысль: как же мы будем жить дальше? Именно с этого момента я начал осознавать происходящее вокруг. Многого не понимал, очень многое я увидел впервые, но, самое главное, нутром почувствовал: в жизни произошло что-то такое страшное, жуткое, появились вопросы, на которые даже взрослые ответить не могут, а мальчишка пяти с половиной лет — и подавно.

I

Мы с двоюродной сестрой стоим у пятиступенчатого крыльца нашего дома и наблюдаем за вселением немецкой воинской части в здание Художественного института. Одна за другой подъезжают огромные машины, из них выгружают кровати, матрасы, какие-то тюки, ящики... Очень много самых разных ящиков. Машины уезжают, появляются новые, но уже с солдатами, те спрыгивают на землю, смеются, им весело, и, продолжая смеяться, они вливаются в широкие двери уже бывшего института. Наступает тишина. На здании появляется красный флаг с белым кругом и странным черным пауком посередине.

Вскоре стало известно, что часть называется эсэсовской, немцы — эсэсовцами, паук на флаге — свастикой. Но что все это означает, чего от них ожидать, от паука и эсэсовцев, — пока неизвестно.

Но вот появился немец в каске, с винтовкой за плечом, и сразу стал что-то кричать в нашу сторону. Сестра потянула меня к крыльцу, поднялась на него, стала открывать дверь, а я, словно загипнотизированный, смотрел на подходившего ко мне немца и не мог сдвинуться с места. Вот он навис надо мною, сунул мне под

нос огромные часы, но и на этот раз я ничего не понял и только смотрел ему прямо в глаза и молчал. Сестра что-то кричала, до меня доносились голоса мамы и бабушки, но страх сковал меня по рукам и ногам, я больше не владел собою. Немец ударил меня по лицу, я отлетел, больно ударившись спиной о крыльцо. Очевидно, боль вывела меня из оцепенения, я перевернулся на живот и начал карабкаться на крыльцо. Но «добрый» немец и здесь мне помог: легко приподняв, он внес меня на крыльцо, поставил на ноги и мощным пинком под зад втолкнул в коридор. Из носа и рта у меня текла кровь, боль пронизывала спину, но я не плакал, потому что страх тут же ушел, как только я увидел рядом родные лица. Так я узнал, что такое часовой и комендантский час, и с этого момента мои знания стали умножаться ежедневно и ежечасно.

II

Мы с бабушкой идем на Ивановку, где живет ее мама, моя прабабушка. Она не захотела оставлять свой дом, сказала: здесь я жизнь прожила, здесь и умру. И вот впервые после начала оккупации мы идем ее проведать. День прохладный, но солнечный, такие в эту пору года случаются очень редко. Я с интересом осматриваю все вокруг. И на Пушкинской, и на улице Иванова много немецких солдат и офицеров, люди сходят с тротуаров на дорогу, уступая им путь. Вот промчалось несколько больших грузовых машин, в них сидят солдаты, их лица наполовину скрыты касками, мне кажется, что каски надеты на манекены.

Я так засмотрелся на этих застывших солдатиков, что наткнулся на двух офицеров, испугался, но быстро успокоился, увидев, что они смеются и бить меня не собираются. Один из них что-то меня спросил, но я ничего не понял, тогда второй, коверкая слова, спросил, как меня зовут. Я ответил. Они начали повторять мое имя, а первый немец порылся в кармане шинели, вытащил оттуда конфету — подушечку — и протянул ее мне. Я поднял руку, чтобы взять ее, но увидел, что она со всех сторон облеплена какими-то нитками и

крошками, спрятал руки за спину и отрицательно покачал головой. Немцы расхохотались, что-то начали кричать по-своему, один схватил меня за воротник пальто, а второй попытался засунуть эту злосчастную конфету мне в рот. Я выворачивался, как мог. Подбежала бабушка, схватила меня за руку, пытаясь вырвать из цепких рук дарителей сладостей. Видимо, им надоела эта игра, потому что первый немец быстро снял с меня кепчонку, размахнулся, изо всей силы запустил конфету в мою голову, надел кепку, выставил в мою сторону указательный палец и несколько раз, подергивая пальцем, произнес:

— Та-та-та.

А второй, сделав страшное лицо, пролаял:

— Партизан капут!

Бабушка утянула меня прочь, на ходу глядя мою голову. Было больно, даже очень больно, хотелось заплакать. Но не от боли, а от обиды. От несправедливости. Я никак не мог понять, за что меня бьют уже во второй раз. За что в меня стреляли, пусть даже шутя, из пальца.

По прошествии нескольких минут в меня снова стреляли, на этот раз уже по-настоящему. Краснозвездный истребитель внезапно появился в небе над Сумской улицей и начал поливать ее из пулеметов. В кого целился летчик — известно осталось лишь ему одному. Может, стрелял он от радости, что прорвался через линию фронта, и теперь летает над родным городом, над любимой улицей. Много потом ходило легенд о храбром летчике. Но в кого он стрелял? Людей на улице почти не было, немцев я тоже не видел. Получается, стрелял он в нас, в меня и мою бабушку? Бабушка дернула меня за руку и буквально бросила к постаменту памятника Шевченко, накрыв своим телом. Сколько мы лежали, сказать трудно. Казалось, вечность. А самолет кружил над нами и все стрелял, стрелял.